



Валерий Черешня
УЗНАВАНИЕ

Валерий Черешня

Узнавание

«Издательские решения»

Черешня В.

Узнавание / В. Черешня — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-938916-9

Стихи автора публиковались во многих литературных журналах России и за рубежом. В книгу вошли стихи из предыдущих сборников и ранее не публиковавшиеся. «Узнавание» в заглавии сборника сродни платоновскому «припоминанию» — уверенности, что истинное познание происходит путём припоминания мира идей, откуда родом все мы. Так и в стихах происходит узнавание родного, изначально существующего в тебе, если удалось воплотить это в слове, размере, ритме: «выпуклая радость узнаванья» по Мандельштаму. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-938916-9

© Черешня В.
© Издательские решения

Содержание

I. Длительность дня	7
«Сгребая мусор важного с неважным...»	7
Сентимент	8
Два этюда	9
Фотография	10
«Длительность дня, непомерная длительность дня...»	11
Зимний сонет	12
Молитва	13
«Я ставлю на себе страшный опыт...»	14
Поверхность	15
Из окна поезда	16
«В щель занавесок – быстрых рук мельканье...»	17
«Навеки врежется всякая малость...»	18
Прощание	19
«Как я себя сегодня не люблю...»	20
«Воскресная прогулка. Как я рад...»	21
II. Из книги «Свое время»	22
«В моей чернильнице давно живёт паук...»	22
Картины	23
«С чего-то сердце у меня...»	24
«Мне тяжело, как зверю, жить собой...»	25
Путешествие	26
Перед грозой	27
«Та женщина, с которой всякий раз...»	28
«Провалившись в себя, выпивай вечеряющий чай...»	29
«Такой бы вечер, если б вправду был он...»	30
Дебил	31
Царскосельская осень	32
Наброски в толпе	33
Он	35
«Нехорошо. Нащупывая дно...»	37
Обнажённая	38
«Мне снился сон, что я сошёл с ума...»	39
«Жизнь пролазит в ушко игольное смерти...»	40
«Зловещий свет перед грозой...»	41
«Любимая, любимая, любая...»	42
«мне нечего сказать тебе...»	43
Простые дни	44
«Вечер. Город вымучен до дна...»	47
Набросок	48
По кругу	49
На тему книги «Бытие»	50
Детство	51
Завет	52
Кавказские наброски	53
«Тишайший вечер. Загород. Жара...»	58

«Они не спят по ночам в шкафу, ...»	59
«Собака тоскует в трамвае...»	60
Накануне	61
«Ну, прощай. Дуб стоит на поляне с ветвями...»	62
Жилец	63
«Согретый голос часто выдыхая...»	64
«Ужас законченной вещи...»	65
«Какое одиночество – всегда! ...»	66
«Урывчатое, верное служенье...»	67
«Не дал дожить до мудрости Господь...»	68
«Чтобы вздрогнуть потом, вспоминая, как было...»	69
Две родины	70
Женщина – старость – смерть	71
Друзьям	74
«Первоосенние синие дни...»	75
Пан	76
Лето: Вечер, ночь	77
Зима 1991. Вид из окна	78
«Густая влажность свободе учит...»	79
«Не дышит стих. Бывает так. Не дышит...»	80
«Близких тяжело терять – себя легче...»	81
«И никто (и ничто) не следит за тобой: есть или...»	82
Ветреный день	83
Три попытки	84
Из окна	87
Морские этюды	88
«И вот, спадают слой за слоем...»	89
Праздник	90
Два стихотворения на одну тему	91
Тогда	92
«Застывая позади – в стихи...»	93
Девочки и мальчики	94
«Ты, слышащий английскую речь кругом...»	95
Два момента	96
«С каждым годом всё легче...»	97
III. Из книги «Пустырь»	98
«Что было разбитым стеклом...»	98
В приюте	99
Сонет из тринадцати строк	100
В поезде	101
«Как дерево, о Родина, оно...»	102
«Вот осень, – говорит мне парк навзрыд, ...»	103
«Готова сердце к новому стиху...»	104
После смерти	105
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Узнавание

Валерий Черешня

Дизайнер обложки Адель Черешня
Фотографии Алексей Саломатов

- © Валерий Черешня, 2018
- © Адель Черешня, дизайн обложки, 2018
- © Алексей Саломатов, фотографии, 2018

ISBN 978-5-4493-8916-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

I. Длительность дня

«Сгребая мусор важного с неважным...»

Сгребая мусор важного с неважным,
перебирать пространство дней и комнат,
покуда долгим окликом протяжным:
«дом-о-о-о-й!» не станешь маленьким, и окна
не высветлят внезапным пыльным светом
след от ступни, влажнеющий на досках...
И всё, что отпылало этим летом,
в слова стечёт разгорячённым воском.

Сентимент

Укрощенье мира словом:
лёгкий взмах его хлыста
и стихает бычий нором,
рябь вселенского холста.

Проступает синий-синий —
даль не может быть синей —
очерк невозможных линий
вечной родины твоей.

Там ликует летний ливень,
пахнет счастьем и водой,
там необъяснимо живы
все, кто должен жить с тобой.

Всё настолько очевидно,
что слепит тебе глаза.
По стеклу стекает длинно
дождевая бирюза.
Капель выпуклые линзы,
укрупняющие стих,
идеальные отчизны
отразившегося в них,

залетевшего, как птица,
света по пути – туда,
где легко ему светиться,
где ни мрака, ни труда.

Два этюда

1

К причудам тела привык,
словно к тихому психу врач:
кормишь его с руки,
водишь его гулять.

Свернётся на ночь клубком
и воздух глотает твой,
причмокивая во сне:
видишь, какой ручной!

Но смирение его – обман,
только и ждёт, чтоб забыл, —
со зверем живешь, – и тогда:
в бешенство, в буйство, в распыл.

2

Ненависть пристальна, но однобока,
всё замечает – расслабленный рот
или картавость захлёбную слога, —
и выдыхает себя: идиот.

Нет бы поглубже в черты эти вжиться,
может, увидишь счастливую суть
лёгкого духа, поэта, провидца,
но застилает угрюмая муть

наше глубинное, чем мы красивы, —
правит деталь, начинённая злом:
глаз нависает сентябрьскою сливой,
так и вдавил бы его каблуком.

Фотография

Д. Шнеерсону

Две женщины, танцующие смерть,
на выкошенной начисто лужайке,
под дудочку открытого простора,
на фоне вечеряющих холмов.

Под небом, накренившимся опасно,
лишь склоны гор и далеко в ущелье
игрушечные кубики домов, —
намёк на чью-то жизнь.

А здесь
всё неподвижно, даже ветер умер,
оставив складки, как напоминанье,
что лишь мгновенье вечности причастно,
как этот навсегда застывший танец,
движения подкошенная прыть
на лёгком взмахе...

«Длительность дня, непомерная длительность дня...»

Длительность дня, непомерная длительность дня
с медленным весом холодного зимнего утра,
с хрупким сплошным целомудрием снежного льна,
словно сгустилась седая алмазная сутра

и разрослась в неизбежную длительность дня,
где и застыла, не падая вниз, ни
вверх не взлетая, сама себе бережно сня
образы жизни, бесплотные образы жизни.

Сумерки сгладят корявые линии дня,
свет истолчётся в закатной пылающей ступе,
силу теряя, державшую контуры, льня
к той темноте, что когда-нибудь к сердцу подступит.

Зимний сонет

Льву Дановскому

Грех отчаянья сердце стеснил
безнадёжной булавочной болью.
Утро щедро посыпано солью
горьких истин и зимних белил.

Словно кто в ширину расстелил,
полотна не жалеючи, вволю,
чистоты белоснежную долю
на поверхность, где ты наследил.

И теперь обещавай, обещавай,
никогда, ни единым поступком,
и зачем, когда так хороша...

Обнищай, как зима, обнищай,
и пройди эту хрупкую крупку,
свежевывавшим снегом дыша.

Молитва

Не оставь меня в робости
перед немощью, немостью,
наклонившимся к пропасти
в позаброшенной местности.

Там ни смысла, ни дерева,
ни глотка, ни объятия...
Взяв от облика зверева,
люди разум утратили.

Не оставь в неприкаянье
духоты тела тесного,
где на шёпот раскаянья
только эхо отвечает.

Сохрани мне умение
быть и небом, и глиною...
А не то, – дай терпение
и забвеньё звериное.

Поверхность

Тугое плоти натяженье,
как в шёлковом чулке – икра,
весь этот блеск твой и кишенье,
твоё внушеньё и игра,
твоё площадное уменье,
как фокусник, из ничего
создать текущее мгновенье,
в котором жизни жить всего
удобней...

И когда по лужам
опять ребёнок вдрызг бежит,
вода скрывает влажный ужас
того, что за водой стоит.

Из окна поезда

«и я бы мог...»

Запись Пушкина под рисунком виселицы

Река, изба и луг,
заката свет прохожий
крадётся лесом, вдруг
он мечет алый ножик
в просветы сосен. Стук
на стыках рельсов. Боже,
ты видишь всё вокруг:
мальчонка поднял вожжи,
река, изба и луг,

и я бы, может, тоже...

«В щель занавесок – быстрых рук мельканье...»

В щель занавесок – быстрых рук мельканье,
горячий свет, как фокусник, тасует
одежду, тело: переодевание, —
воображенье сладостно тоскует.

Зачем нам эта близость с неизвестным
(там свет погас, и что в том сне приснится?),
когда своим, назойливым и тесным,
мы так полны, что впору отстраниться?

Так жизнь своя, пережитая страстно,
укутанная властью словесным пухом,
воображенью видится прекрасной,
но вдруг она окажется старухой?

«Навеки врезается всякая малость...»

Навеки врезается всякая малость:
щербины асфальта, прохожий, морщины...
Ты спущен в подробности с дальней вершины,
где след их потерян, где связь их осталась.

Навеки?

Помилуй, нам выдана ссуда
небрежною щедростью скрытого мира.
Беспечный монтажник скомандует: «Вира!»,
и всё возвратится туда, откуда.

Прощание

Поезд трудно отходит от платформы, натягивая
до упора
нити горя, любви, жалости, детского ора
и внезапно рвёт их, оставляя пустыми
пассажиров, взявших с собой только имя
и готовность наполниться будущим до предела,
а пока упускающих настоящего крупное тело:
с переплясом стволов, стыков частой считалкой,
простоволосым видом спугнутого полустанка,
временем, подтекающим под дребезг стакана,
сумасшедшим соблазном стоп-крана:
дёрнуть – и сорвать планы
провидения, несущего смерть и раны...

«Как я себя сегодня не люблю...»

Как я себя сегодня не люблю
так даже ты – не можешь;
споткнусь о пристальную ненависть, сравню, —
ну что ты гложешь
остывший хрящик, когда вот оно —
дымящееся мясо,
к нему – презренья скисшее вино,
зияет касса
ушедших чувств, – ну что, банкрот,
длить время стоит,
пока испуга одичавший крот
туннели роет?
Перетерпи, взглядишь, направь софит:
в болящей точке
пусть всё дотла, до пепла прогорит.
Лети, пустая оболочка!

«Воскресная прогулка. Как я рад...»

Воскресная прогулка. Как я рад
пройтись по этим улицам без цели
и, увеличив протяженность тела,
пространство пропустить через себя.
Ты, бескорыстье, лучший проводник, —
куда велишь, туда я и шагаю,
покорно следую извивам парапета,
безлюдной набережной скользкому пути
и захожу во все дворы и подворотни,
лишь стоит поманить стеной кирпичной,
косым окном, прорубленным под крышей,
и черным деревом в нетронутом снегу, —
заветной жизнью тесного угла,
где выход только в небо, вверх и в небо.

И вновь холодный, в оспинах, гранит,
вослед за костенеющей рекой,
ведет на старое немецкое кладбище,
где узкие протоптаны тропинки
среди камней, под выпушкой из снега,
со стершимися буквами псалмов,
где тень от смерти стерлась и исчезла
настолько, что не может возродить
ни бледных девушек в кисейных длинных платьях,
ни их отцов в парадных сюртуках,
уложенных семейственно и рядом.
И я, чья жизнь нелепее стократ,
быть может, а точнее – несравнимей,
стою, живой, под низким ровным небом
и представляю кукольный уклад
их жизни – осознание, как чудо,
полно серьезности и тайны: тень крыла
коснулась сердца и исчезла.

С этим чувством
я выхожу на крошечный проспект
к домам, автобусам, трамваям, людям.

II. Из книги «Своё время»

«В моей чернильнице давно живёт паук...»

В моей чернильнице давно живёт паук
и я тихонько трогаю рукою
тончайших нитей серебристый пук,
осыпанный чернильною мукою.

Здесь целый мир, засохшая страна,
где есть хребты, долины и вулканы...
Прекрасный мир, без цели и творца,
он так похож на мой, что даже странно.

Картины

Брату

1

О, светлая комната, чист твой оструганный пол
и срезана небом ненужная больше лепнина;
здесь воздух, настоящий на кожуре мандарина,
и свет отовсюду плывёт, восхитительно гол.

Здесь есть только женщина в вечном изгибе своём,
ей данном от Бога, как спелость осенняя листьям.
Возможно, что море заметно в оконный проём,
возможно, художник случайно дотронулся кистью.

2

Ложиться на кровать,
забыв о взрослом горе,
и в маленьком просторе
о море вспоминать.

Заброшенный причал.
И, как в твоём пейзаже,
на опустевшем пляже
волнение у скал.

Над волнами песка
струящаяся плёнка,
и у меня, ребёнка,
спадает пелена:

такая благодать —
лазурная свобода,
седьмого небосвода
звучащая печать.

«С чего-то сердце у меня...»

С чего-то сердце у меня
болит надрывней, чем вчера,
видать, изменится погода,
и среди ливней октября
проглянет ясная пора,
как реквием по смерти года.

Восторжествует жёлтый цвет,
но сущий осени портрет
есть пустота пространства-вздоха;
тогда он может быть и без
застиранной голубизны небес,
хотя без этого и плохо.

И вот он – кроткий вздох тепла,
подобный хрупкости стекла,
звнящего предельной нотой...
Дни осени тем хороши,
что в них присутствие души
очерчено твоей заботой.

«Мне тяжело, как зверю, жить собой...»

Мне тяжело, как зверю, жить собой,
к своим следам упорно припадая.
Ты нужен мне, какой-нибудь другой,
чтоб сердце не давало гулкий сбой,
себя в себя, как в волны, погружая.

Ты нужен мне, чтоб медленно следить,
дивясь, что и тебе – свобода воли,
как ты легко и умно хочешь жить,
как ты стакан ко рту подносишь пить, —
да ты и вправду существуешь, что ли?

Ты нужен мне, чтоб я, как Иов, мог
тебя в сердечной скорби опровергнуть.
Услышав твой благоразумный слог:
концы с концами – нищенский итог,
тебя, как иго чуждое, отвергнуть.

Путешествие

Теплоход навис над пустым причалом,
мокрый плеск под брюхом худого настила,
вата темноты, теплота начала
мягкой лапой ночи тебя настигла,
растопила сгусток остывшего сплава:
как безумно в тигле подростка кипело
ожиданье чуда, желанье славы
пополам с прозрачным и чистым напевом,
что донёсся бризом, над морем рея,
обходя легко словесные сети
волнованьем волн, словно «Ave Maria»
затянул дискантом морской Лоретти.

Повторенье темы угрюмой и глуше:
двор, кишачий котами, орущими жутко,
где в ложбины асфальта стекается лужей
содержимое раблезианских желудков;
жизнь листай назад – это время в рамах,
разгребай завалы людей, событий,
и тогда, под ворохом тёплого хлама,
ты найдёшь себя накануне отплытья,
и пойдёшь опять, и начнёшь сначала,
только бы узнать, что же в этом было:
теплоход навис над пустым причалом,
мокрый плеск под брюхом худого настила.

Перед грозой

Ещё томящийся во мне
мотив прерывистый и трудный,
утраченные в смутном дне
крупницы ясности минутной,
тихонько хнычущий во сне
ушедшей жизни тонкий прочерк,
косящий на моём окне
протяжных капель влажный почерк,
обрушившее ночь в стекле
зарниц мгновенное плетенье,
тоскующий в моём стихе
раската ропот в отдаленье,
сплетающий свои ручьи
поток по блещущей брусчатке,
случайные слова ничьи
в лежащей на столе тетрадке,
летающие по потолку
по воле ветра свет и тени...

«Та женщина, с которой всякий раз...»

Та женщина, с которой всякий раз
был внове мир, которая преступно
тебя в уме держала про запас, —
а ты смотрел до онеменья глаз, —
теперь почти всегда тебе доступна.

Но что тебе теперь, – тогда, тогда...
Взамен невыносимо трудной страсти
снисходит поздней мудростью строка:
дарить нам счастье надобно, пока
оно для нас ещё немного счастье.

И понуждая памятью те дни
озвучить снова шелестеньем платья,
овеществовать прорехами скамьи
с застрявшим сором, и её в тени,
ты ничего не чувствуешь, – проклятье!

Но это было, я её любил!..
И оглянувшись, чтоб найти приметы,
вдруг натыкаешься на этот поздний пыл
и вздрагиваешь: ты ли погасил
блеск этих глаз, сиявших прежде светом?

«Провалившись в себя, выпивай вечеряющий чай...»

Провалившись в себя, выпивай вечеряющий чай
из заката усталости каменной, послеработной,
перед богом минуты живой отвечай:
как ты стал этим сумрачным старым животным?

Вот дана тебе тихая сила – смотреть,
как закатное небо холодные звёзды разбудит...
Ты уже потерял свою жизнь, потеряешь и смерть, —
и нигде тебе легче не будет.

«Такой бы вечер, если б вправду был он...»

Такой бы вечер, если б вправду был он,
и был бы он такой же светло-синий,
и город всё тепло с таким же пылом
растрчивал, вплоть до дрожанья линий,
и мы б сидели в предзакатном блеске
лучей, озолотивших угол пола,
сквозь тюлевую глядя занавеску,
как толпы возвращаются с футбола,
и я бы чай цедил кирпичной нитью,
уверовав, что вечность совершаю,
внезапно, отстранившись, я б увидел,
что вот, я чай в стаканы разливаю,
а то б пошли по длинному бульвару:
слоёный воздух, как ступени в небо,
возносит купно молодых и старых
и пеленает бережно и слепо,
и был бы я божественно нечуток,
чтоб длить и длить застывшее мгновенье,
не прекращая это время суток,
не превращая жизнь в стихотворенье,
то, может быть, когда бы вправду было
всё это невозможное повсюду,
ты думаешь, нам жизнь не изменила б?

Но это так... неведомо откуда.

Дебил

Он прячет лицо и воеет, —
так страшно летит электричка,
и тьму за окном успокоит
лишь запах пальто сестрички.

И мы изъясняемся трудно,
и нас утомила дорога,
и мы, в нашей тьме беспробудной,
дебилы Господа Бога.

Царскосельская осень

Школьник, сбежавший с урока,
счастье вдохнувший, как воздух
прелый, осенний, без срока
вольную взявший, коросту
ссохшихся дней разорвавший,
сому свободы испивший,
по листопадовой замше
города мягко ступивший...

Наброски в толпе

Всё, что попутно входит в слух,
когда живёшь стихом единым
и чуешь, выпрямлен и сух,
преображенье мысли в звук, —
становится необходимым:
бубнящий бабий разговор,
трамвайный бестолковый спор,
всё, от чего душа немеет
в глухом отсутствии стихов, —
вдруг настигает сгустком слов,
и есть, и ровный смысл имеет.

1

Очень старый человек —
сквозь толпу, как стойкий остов,
чудом держит на плаву
череп чудный – голый остров,
рассекающий волну
злой и пенистой истерики
крепкой грудью стёсанного берега.

2

Отсутствие лица не восполняет
присутствие широких бёдер. Муть
её флюидов встречных овевает.
И смело воздух рассекает
всепобедительная грудь.

3

Девочка в слезах домой идёт,
себя не помня, – радио трубит
победный марш, – размазывая слёзы
и спотыкаясь, прикрывая рот...
Припомни упоение обид
из собственного детства: бегство, розыск
укромных мест, где можно отомстить
мечтой о горькой неизбежной смерти...

4

Сквозь запах свежевыкрашенных парт,
дохнувший из окна осенней школы,

я пробираюсь в годы, где меня,
счастливого своими пустяками,
легко, не сомневаясь, не спросясь,
втокнули в мир учебников и парт,
буфетов, туалетов, коридоров,
мир злой и чуждый...

Вновь, остервенясь,
выкатывает класс на перемену,
вновь сила, слабость, горе...

Здравствуй, смена,
неужто и тебя загонят в сны,
где всё не пересдать свой детский ужас...

Он

1

Он бреется, вытягивая шею,
и видит голый сад в окно,
где ветви в сумерках синеют...

тогда он говорит: «дерьмо».
Он обращается не к саду,
в зиме застывшему, застуженному,
не к жизни ежедневной, сладе
с которой нет, да и не нужно,
и даже не к себе, – привычно
на ощупь добривая скулы,
он просто произносит слово
вслепую, повинуюсь гулу.

2

Когда напротив света – ореол
волос его пушится в блеске солнца,
но недоволен чем-то, даже зол.

Мы есть ни взгляд снаружи, ни внутри
живое копошение тепла.
Есть третье, невозможное, смотри,
смотри, там пусто – ни добра, ни зла;
там только день, какой угодно день,
пробивший тучи солнца яркий коготь,
и человек отбрасывает тень,
прилипшую к асфальту, словно дёготь,
и я – лишь точка взгляда на него,
на свет над ним, живущая лишь этим...
И никого, чтобы расставить всех
и успокоить, правильно отметив.

3

Эти спазмы любви-нелюбви,
как погода за пыльным окном —
заболочены мутью тоски.

Краснощёкое слово: любовь,
давних лет умирающий зверь,
но кусается загнанно, зло.

Нет исхода и заперта дверь.

Если гибнуть, то гибнуть вдвоём.

4

Он был мёртв, ничего не писал,
взгляд блуждал среди дохлых вещей,
с их ухмылкой копчёных лещей,
мелкий голос хихикал: «пропал!»

Это место ушедшей любви,
«ничего» отвратительный зоб,
перекрёсток корысти и лжи
и гнездо неразобранных злоб.

Да, и всё-таки, сердце лечи
пустотой-голизной за окном.
И молчи, ради Бога, молчи,
чтобы слово не сделалось злом.

5

Тогда он пойдёт и живьём попадёт в черноту
осеннего сада пустого, с его перехлёстом
голодных и голых ветвей на холодном ветру,
живущего в воздухе редком свободно и просто.

Беспамятство жизни, покорной и свету, и мгле,
цветенью и смерти недолгой, предстанет укором:
«нечисто твоё пребывание здесь, на земле!»
И он будет изгнан из этого сада с позором.

«Нехорошо. Нащупывая дно...»

Нехорошо. Нащупывая дно
себя, едва удержишься от стога.
Но взгляд пустой, наткнувшись на окно,
вдруг наполняется безумным цветом клёна.

Вот почему мне осень...
Красота,
в саму себя ушедшая по плечи,
снимает стыд, как стылая вода
снимает с неба ночью отблеск млечный.

Обнажённая

... тело лишь прекраснее тогда,
когда ты ничего о нём не знаешь,
но вот, стоишь у чёрного окна
и ртутным светом лиц отливаешь.

Невидимая осень за углом,
шурша по законным переплётам,
пытается прикинуться зверьём,
ломаю руки деревьям-уродам,

но тоненькая... Всё же, упаси,
в такую ночь не в комнате, а в стуже,
и руки, прикрывавшие соски,
хватает плечи, замыкая ужас

представленный... Спасение себя
уютом самозамкнутого тела —
стон против мира за спиной стекла,
покорности его окоченелой.

Там всё необходимо решено:
чтоб хрусткую листву настигла кара,
чтоб молодое светлое вино
играло – зрело – становилось старым.
Так на каком настояна вине,
откуда эта странная свобода:
всей кожей – по крахмальной простыне,
и одеяло взять до подбородка,

коснуться кнопки лампы, чтоб легли
из-за неплотных штор полосы света
на опушённый край её щеки
и локоть, на подушке косо вздетый.

Но погоди, продлись, ещё постой,
придуманная мной у занавески
с такой полузабытой чистотой,
что мне слепит от преизбытка блеска.

«Мне снился сон, что я сошёл с ума...»

Мне снился сон, что я сошёл с ума
и это было медленно и скверно;
на улице гуляющая весна:
бесстыжий воздух, оживают черви,
а плоть ещё тревожит колкость терний
и близость ада прочит запах серный.

Мне снился отвратительный пейзаж:
клочки небес, куски пустой породы;
а здесь весна творит свой ералаш,
прокисший снег питает огороды,
и страсти предпасхальные природы,
как бешеный ребёнок, входят в раж.

Мне снилось ощущение беды,
ну, успокойся, это был не ты...
.....
Ты видишь эти колкие кусты,
где между веток воздуха зиянье,
как праздник преизбытка немоты?

Что значит это наважденье сна
и буйство незаконное природы,
и почему их нужно совместить?
Но я стою у пыльного окна,
просвеченного солнцем, словно что-то
мою попытку хочет освятить.

«Жизнь пролазит в ушко́ игольное смерти...»

Жизнь пролазит в ушко́ игольное смерти,
«нет» и «нет» окружают короткоживущее «да».
Как нам выпукло светит, слезящая крупно, звезда
в топком бархате чёрной, её обступающей тверди!

Как пропеть успевае́т дрожащий её голосок
невозможную песенку, шлягер юродивых бедствий,
как мы слепо доверились этой мелодии с детства,
как покорно танцуем безумье отпущенный срок.

«Зловещий свет перед грозой...»

Зловещий свет перед грозой,
так тихо-жутко, что и ветра нет.
Чей дух, обидчивый и злой,
на собственную немощь сетует?

Прокатывает дальний гром.
Деревья, вздрагивая листьями,
нас заклинают языком
пророков, чудотворцев, мистиков.
И, понимать не смея их,
мы проникаемся смятением...
Но вот, промчал последний вихрь,
открылся ливень ровным пением.

Разверзлись хляби в небесах,
взорвались лужи дробной россыпью,
и в нас раскрылся лёгкий взмах,
с нестрашной осыпью...

И мы вникаем в эту брызнь,
в её необходимость вылиться,
как проживаем нашу жизнь
при видимой её бессмыслице.

«Любимая, любимая, любая...»

Любимая, любимая, любая,
какой обман твой несравненный свет!
Пузырь земли, нелепая, живая,
инстинкта нечленораздельный бред.

Как насекомое, мучительно влипая
в смолу, узором станет в янтаре,
так сила бестелесная, слепая,
вдруг женщиной хохочет во дворе...

«МНЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ ТЕБЕ...»

мне нечего сказать тебе...

окно прохожее распахивает профиль,
старухи любопытствующей профиль,
сидящей под бульдоговым буфетом, —
тень веток полосует ей лицо.

мне нечего, мне нечего сказать,
но комната вытягивает душу
знакомыми обоями, людьми,
привычным запахом и видом из окна...
мы звери тихие, домашние мы звери,
нам разум дан, чтоб горе горевать
и понимать, что некуда идти,
и комната тебя переживёт.

я задыхаюсь, нечего сказать
под стук подносов, грузный дух столовой:
кефир и булочка, и лысина лица,
и горе пьяницы над пролитым портвейном, —
вот живопись, подвластная любому,
кто видит свет и тень, и их размывы
на грязном фартуке раздатчицы дородной,
что ловко поднимает свой черпак.

мне нечего сказать тебе, прощай,
вот только здесь пройдемся напоследок
по гнутым мостикам, читающим названья
каналов разных, а вода одна —
болотом пахнет да огни полощет,
и принимает колкости дождя,
а мы о пустяках проговорим,
позволив себе роскошь не заметить...

Простые дни

1

...и вот опять идут простые дни
без рифмы и размера. Очень рано
встаю, готовлю чай и умываюсь...
Какой покой в обыденных словах,
написанных на следующий вечер,
когда от света – еле видный след,
зажившая царапина, но утром
те пять минут, когда привычка жить
ещё не обрела привычной власти, —
вся чернота холодной зимней ночи
да две полоски света на стене
от окон, где проснулись часом раньше, —
вот всё, что есть, помимо горечи душевной,
столь беспричинной и несоразмерной,
что удивлённый и чужой следишь,
как тело медленно встаёт и суетится,
и ставит чай, и прячется в одежду,
и всё затем, чтоб не успел додумать
простую мысль: тебе дарован день,
ты – избранный сосуд в каком-то смысле,
но смысл и цель настолько далеки
от ежеутреннего сонного похмелья,
от сложенных в бессилье длинных рук,
от коридора тесного, в котором,
уже в дверях опомнившись, не верю:
и это я в шатающемся теле?

2

Весёлый мальчик, ты пришёл за мной, —
смешинка съедена, и щёки распирает,
ты, как всегда, некстати, вертопрах,
я нахожусь на службе, ergo занят
серьёзной чепухой; кругом сидят
живые равновесья благ и тягот,
они насуплены и вряд ли одобряют
твою беспечность, впрочем, ты упрям,
к тому же, мне на улицу пора,
ты это знаешь и мостишься сбоку,
и стоит зазеваться, как прильнув,
сливаешься со мной, вот новым взглядом,
уже твоим гляжу на всё вокруг:
дома разбросаны, негреющее солнце
им отмеряет тень и строит их в шеренги,

машины ждут толпой у переезда,
а паровозик маленький снуёт,
и белый пар – сугроб среди сугробов.
Неотличима шалость от труда,
неотличима, видишь, я шагаю
и каждым шагом зарабатываю столько,
чтоб возместить потерю сил от шага.
О, равновесье дивное, закон
всеобщий и дарующий спасенье
душе приبلудной и несмелой!

Я – в законе,
беру, что можно, от щедрот природы
и никому на свете не мешаю.

Ты внушил
мне это чувство, ветреник весёлый?

3

Сегодня день – за все не дни награда.
Всё так совпало: редкой тишиной
внутри и тихим местом у окна
я награждён за месяцы бездушья.

Тихий ангел
спокойно направляет трезвый взгляд
на вымерзший пустырь, где два скелета
больших деревьев связаны верёвкой,
и простыни дубеют на ветру,
старуха бьётся с мокрым полотенцем,
а мальчики затеяли игру
беззвучную отсюда.

Светлый контур
многоэтажной ряби новостроек
виднеется вдали на горизонте.
Всё видимое только подтвержденье —
наружная судьба моей души,
но странным образом и вправду существует...
Я медленно живу. Свет угасает.
Сначала исчезают новостройки,
старуха возвращается домой,
деревья нависают тёмной мощью.
Я вспоминаю строки из стиха,
написанного раньше: «Бог дарует
обитель тихую...»

И повторяю: «Бог дарует».

4

Что же прекрасно сейчас?
Не спрашивай, смотри в окно,

где красный кирпич и красный закат,
в тупик упирается улицы ров,
прохожий уходит в область утрат,
скрытую стенами соседних домов;
взгляд,
ломаясь о непрозрачные преграды, —
цветок на подоконнике, антенны разлёт, —
добирается до пологого ската
крыши, под которой крыша трамвая плывёт,
поднимается по циклопическим трубам,
чьи жерла небесное нёбо коптят,
выдыхая курчавые шубы, —
их руно на закате рождает ягнят...

...не это ль прекрасно,
так идти неуклюже и наоборотно
от предмета к себе, чтобы стало стремительно ясно,
для чего так пространство заполнено точно
и плотно,
почему так на месте любое в оконном улове,
что эпитет лишь эхольный отклик бесспорных
предметов,
и тишайшая тишь воцаряется в мысли и слове,
осенённая сложным закатом из светлого света...

...но ты, разорвав
шаманскую связь из всего лишь слов,
вернёшься к тому за окном,
что стойко живёт, проявляя нас,
вбирая закат и старея тебя,
безостановочно скользя,
сквозь то, что прекрасно сейчас.

«Вечер. Город вымучен до дна...»

Вечер. Город вымучен до дна.
Серый цвет усталости на лицах.
Солнце тычется последней спицей
в форточку чердачного окна.

Ватная, густая глухота
нависает облаком из пыли.
Гончие дорог – автомобили
ждут зелёной дичи по углам.
Проступает голый свет реклам.

Кажется, сейчас произойдёт:
вздрагнет воздух, вздрёнется завеса...
Почему так нестерпимо тесно
вровень с жизнью, как она идёт?

Что-то ловишь в воздухе пустом,
что-то ждёшь – подумать! – что-то ищешь.
Свет заката, как смиренный нищий,
тихо умирает под мостом.

Набросок

С цепочкой на руке и в джинсы влит,
прилипнув к стойке бара, полуспит,
талантливое тела тугой изгиб,
над головой табачный прозрачный нимб.

Лихой проныра-бармен трясёт коктейль
под музыку густую, под «шэйли-мэйл»,
на пухлом рыжем пальце блестит кольцо,
лоснится небольшое мыльное лицо.

А музыка вскипает и льётся через край,
прощай, мы исчезаем, впадая в кайф,
прощай, мы исчезаем – ищи-свищи —
в ночи своих желаний, в ночи, в ночи...

По кругу

1

Трудно меняться нам, Господи, лет
столько, что мы от привычек замшели,
словно столетние ели, но еле
слышно творим одиночество бед.

И удивляемся, встретив больших,
будто не мы их любовно растили
в песнях, спрягающих имя России,
в гулких подпольях священных побед.

Как повзрослели вы, болью в сердцах
что отдаётесь! И сколь вы наивно
самодовольны, видать, неизбывны
в наших несметно просторных краях.

2

Долго не было бузы,
чтоб в огне её сгорели
эти чувства, эти трели,
дамы эти и тузы.

Долго не было слезы —
капли божьего рассола,
чтобы в хоре только соло,
только молния грозы.

Долго не было любви
и её певучих странствий,
расширяющих пространство,
словно куст себя ветвит.

Долго не было во мне
очищающего взлёта,
чтобы я не ждал чего-то,
а по крутизне полёта
вдруг узнал своё вполне.

На тему книги «Бытие» (обращение Рувима к Иосифу)

Добрый день, Иосиф, – благодать Господня,
пьяненькое счастье у меня сегодня!

Не пустое Йахве вопли Ханаана,
ради слов Завета сыты мы и пьяны.

Не смотри с укором на безумье пляски,
им не так уж часто выпадает праздник.

Отдадут, как дети, не вступая в торги,
за минуту радости вековые скорби.

Брат ты мой возлюбленный, Иакова отрада,
да воздастся каждому по делам награда!

Нет твоей заслуги, моего бесчестья, —
волю нас Пославшего исполняли вместе.

Хорошо ли, худо ли, суд не в нашей власти,
всё послужит Господу, даже наши страсти.

И какая музыка – сколь бы ни был хрупок —
когда полон Замысла каждый наш поступок:

ты – любимой первенец, я – тебя продавший,
и над нами Видящий, это разыгравший.

Он зачтёт строптивное наше послушанье,
да воздастся каждому за его страданье!

Детство

Я на диване, мир уютен,
мне дочитают книжку завтра,
среди Иванушкиных плутов
дрожит стекло от гула «Татры».

И бабушкин счастливый «штрудель»
остынет на окне, и вечер
осеребрит фонарным чудом
широколиственное вече,
прочертит сеть венозной тени
на потолка белейшем меле,
и кровь прозрачных сновидений
дохлынет до моей постели.

И запах дома, запах дома, —
как мне сейчас ты остр и нужен, —
оберегает от погрома
огромной жизни, что снаружи.

Завет

Откуда взял – туда пусть и вернётся.
Ты отпускаешь нынче с облегченьем
слепое пляшущее пятнышко колодца
и бабушкино крохкое печенье.

Ты отпускаешь тинный запах моря,
его покаты́й плеск порою штиля,
и детское отчаянье историй
с русалочки звучащим словом Лиля.

Не впасть бы только в грех перечисленья
и не беспокоить словом эти
на дне души уснувшие селенья, —
им хорошо в давно погасшем свете.

Пусть в беспредельной шири растворится,
что оболочка глаза отражала,
а всё, чему положено случиться,
лишается пронзительного жала.

Кавказские наброски

Пролог

Когда открыли дверь и сквознячок метнулся
задев его горячее лицо,
он медленно в кровати повернулся,
за мимолётным следуя певцом...

...он встал и подошёл к окну:
на потрясённой августовской тверди
дрожанье звёзд рождало тишину.
Он вспомнил, что еврейский ангел смерти
был тьмой очей, уставленных во тьму.
И, словно мир, с которым разыгрался,
неосторожно поднеся к лицу,
внезапным светом изнутри взорвался...
И неизвестно почему
вдруг Грузия припомнилась ему,
и он к стеклу горячим лбом прижался.

1

Жара, автобус кольцевой,
стихия рваных чувств
накалена, над головой
волос ершится куст,
и пахнет жухлою травой.

Рябит дороги полотно.
Возможностей не счесть:
дремать, влюбиться (заодно
соседка рядом есть),
глазеть в немытое окно.
Автобус водит караван
далёких гор, и плюс
свободы непростой обман.
Я счастлив, как зулус,
когда он садит в барабан.

Мне хочется сойти на крик,
что это – жизнь моя,
что я теряю в этот миг
частицу бытия...
что, вот, я вновь её настиг.

2

Здесь было плохо одному
плохому человеку.
Он был поэтом. И ему
так было ясно почему
он полумёртв. Калека.

Он был романтиком ещё,
и горы так прекрасно
существовали, что отсчёт
от них не ставил личность в счёт.
И это было ясно.

Он ставил столик на крыльцо,
писал: «в долине Дагестана...»
Взглянув на скучное сельцо,
он морщил круглое лицо
и рифмовал со словом «рана».

– Смешней всего, коль этот бред
осуществится... впрочем,
здесь скучно, да и сладу нет
с подательницей благ и бед, —
что зря себя морочим?!

Он был романтиком, хотя
не столь уж это важно;
и, если он писал «дитя»,
то с умилением, не шутя.
Ему бывало страшно.

3

События, которых нет,
в гостинице, на берегу Севана,
в окно, как стук негромкий, — свет,
и мы с тобой уходим рано,
глухим горбатым пустырём,
рассвет, как воду из стакана,
омытыми глазами пьём.
Садимся у воды. Колючки
счищаем. Ничего не ждём.
Как говорят поэты, тучки
проносят свой летучий бред,
как будто всемогущий лучник
их посылает следом в след.
Сидим. Спокойно нам и странно.
Как хорошо! Событий нет
в гостинице, на берегу Севана.

4

Шофёр преславный, Аарон,
вознёсший нас в своё Ужгули,
открытое со всех сторон
богам и небу – гули-гули!

Ты поднимал нас, патриарх,
рискуя сверзиться в колодец
ущелья, в кузове свой прах
тряс жалкий избранный народец.

Обетованная земля,
где снег с полей сошёл в июне,
где птица плавно с ледника
слетит сюда и что-то клюнет.

Дымок горчащий кизяка,
мечта ручья – рекой растечься,
и поступь мерная быка
в неспешный стих хотят облечься.

Но это года через два,
когда душа слегка забудет
и запахи умрут в слова, —
когда уже не вспомнить будет,

как в абсолютной полноте
свершается обетованье,
и горы в грузной немоте
сиянье обратят в слиянье.

О, поэтический товар,
тебя гостям как не пристроить!
Нас уверяют, что Тamar
и здесь успела понастроить.

С лукавством, свойственным послу,
осматриваю камни, щели,
уже спускаясь в крутизну
своих пространств, своих ущелий...

5. Армения

Кладка древнего храма на каждой горе, —
вот где славно устроились мёртвые души.
Вот и всё, любопытный, о древней поре:
кто-то жил, кто-то строил и кто-то разрушил.

Ты забрёл посмотреть? На здоровье, смотри.
Можешь тронуть рукой проходящую тучку,
приобщайся к местам, где веками пасли
толстозадых овец средь верблюжьей колючки.

А теперь вот закат обещает полям
неплохую погоду на дни наших странствий...
Ничего, ничего, кроме свойственной нам,
угасающей боли гражданства.

6. Тбилиси

Дмитрию Шнейерсону

Тёплый город с персиянским рынком,
я воспоминание устрою,
как устраивают праздник по старинке
горцы над извилистой Курюю.

Первым делом будет ночь и запах
пыльных листьев и вина сухого,
темнота в тепле на задних лапах
давится от звёздного улова.

На второе можно жаркий полдень:
липкий пот окупится сторицей
ощущением тысяч прошлых родин,
газировкой с братьями Лагидзе.

Грузной тенью город вечереет.
Солнце село. Можно жить и думать.
Медленно, как виноград, созреет
мысль о жизни без тщеты и шума.
Смуглый воздух – кожи продолжение,
ничего не весящая малость.
Город прост, как просто предложенье
жить вдвоём, когда подступит старость.

И тогда мгновенная зарница,
как предвестье бедствий и пожаров,
выхватит на миг крестьянок лица,
прикорнувших у мешков с товаром.

7

От путешествия немного остаётся.
Причалил пароход. Приморский город пуст.
Немного трезвости на завтрак достаётся,
немного трезвости и доля свежих чувств.

Ты в этом городе никто, чужой, разиня,
и видишь всё, как есть. Что может быть ясней
рассветной мистики закрытых магазинов,
пустынной улочки и тупика за ней.

Общение легко, как в ожиданье водки, —
необязательною близостью согреюсь:
усатый человек, похожий на селёдку,
«побреюсь, – говорит, – пойду, побреюсь».

«Тишайший вечер. Загород. Жара...»

Тишайший вечер. Загород. Жара
спадает. Просыхает майка.
Я соглашаюсь с Пушкиным – пора.
Кричит несытая и вечно злая чайка.

Почти несносная разлита благодать,
вдали, как в раннем детстве – пианино,
перебирают старые этюды.

Идёт война, но далеко отсюда.
Мы в райском уголке, и в наши спины
не тычут палкой, – что же больше ждать!

«Они не спят по ночам в шкафу, ...»

Они не спят по ночам в шкафу, —
Кафка температурит и повторяет в бреду:
«Истинней нет ничего этих зыбких, упорных
зверей,

их искорёженной страсти...»

Рильке, вбирая исторгнутый свет
тихо его возвращает.

Сократ чуть лукавит: «Ты так полагаешь?..»,
цепкость ума его держит на привязи мир.

Мандельштам, слегка задыхаясь,
лёгкое слово над каменным смыслом несёт,
и изумлённо следят Шварц и Шекспир
за спектаклем,

верить в который невмочь.

А в книге книг

всё спорит с Богом одинокий Иов
и просит отступить от него,
не обращать вниманья на такую малость,
как человек, дать проглотить слюну...

«Собака тоскует в трамвае...»

Собака тоскует в трамвае,
скулит и рвётся на волю,
и плачет, недоумевая,
зачем это движется поле?

Как может, ей суть переезда
хозяин толкует сурово
святыми словами «на место»,
лишёнными смысла вне крова.

А Ты, удивительный лекарь,
врачующий буйное стадо,
как мне объяснишь, человеку,
своё безусловное «надо»?

Ты хочешь добиться прозренья,
что наши стремленья напрасны?
Твои повеленья прекрасны
и вне моего разуменья.

Накануне

Отцу

В то время как готовятся к войне
с постыдной спешкой и безумным рвением,
купи малины, сахару вдвойне
и приготовь целебное варенье.

Больших тазов сияющая медь
и солнце, затекающее в кухню,
и сладострастье детское – смотреть,
как плёнка сласти потихоньку пухнет.

Ты знаешь, наступающей зимой,
когда былая жизнь уже убудет,
в разгар вражды отчаянно немой
оно ещё понадобится людям.

Но даже если обратится в прах,
замрёт в горсти, как бабочки биенье,
вся жизнь твоя, ты не играл в их страх,
а пробовал, как тянется варенье.

«Ну, прощай. Дуб стоит на поляне с ветвями...»

Ну, прощай. Дуб стоит на поляне с ветвями,
распростёртыми, как беспорядок выкрика.
День пронёсся облаками летними,
не узнав себя.

И о чём кричала,
пролетая над заливом, чайка?

Ты почувствовал?
Видишь, лодка пустая качается у причала —
перевозит души?

Лучше бы ты не умствовал,
а любил этот день.

И вечер,
уходя из жизни с лёгкостью пуха,
подарил бы тебе на прощанье ветер —
ласку воздуха.

Остроту слуха.

Жилец

В городе живёшь: то с неба ахнет,
искры разлетятся под дугой;
то одной какой-то мерзостью запахнет,
то другой...

Каждый маленькой лопаткой лепит
жизнь свою из глины и песка,
и судёнышко его квартиры треплет
океанская тоска.

Вглубь ныряя до последней меры,
до немой животной глубины,
он увидит ровный-ровный серый
цвет своей вины.

Но пока хватает сил и веры,
глупости, надежды и любви,
добавляет в нелюбимый серый
вымышленные свои.

«Согретый голос часто выдыхая...»

Согретый голос часто выдыхая,
царапая поверхность бытия,
как ногтем лёд в автобусе... Какая
здесь остановка может быть? Где я?

Пустынно, холодно, но ведь живут же люди,
вымучивая смысл своей судьбы,
считая годы сдавленной грудью,
безграмотно наморщивая лбы.

Усилия сирот, вы мне понятны.
Нетрудно будет вам и мой статут
принять: дыша на пальцы, делать внятным
безмолвный ропот, раз уж вышел тут...

«Ужас законченной вещи...»

Ужас законченной вещи,
глупость обмысленной мысли, —
жить в этой огненной печи
и пересчитывать числа:
пять сороков пустяковин,
пару небесных опалин, —
вот ты уже и доволен
и к полунебу приравнен.
Экой дурак, как посмотришь,
что же забыл эти ветки
сунуть в мешочек истёртый
к прочим прекрасным обедкам?
Что ли и вправду почуял
запах фальшивого слога:
упоминание все
неба, простора и Бога?
И рассмеявшись вдогонку
звонко-пустым перелевам
стрункий стоишь, а в сторонке
счастья протяжное тело.

«Какое одиночество – всегда! ...»

Какое одиночество – всегда! —
как рукопись, протянутая к звёздам,
как в злость переболевшая беда,
растасканная по квартирным гнёздам.

Какое одиночество в вещах,
в обманчивой понятности их смысла;
какое одиночество в веках
событий, выдыхающихся в числа!

И безразличье в каменном лице
природы – не лирические грёзы...
Какое одиночество в конце,
когда душа дрожит, как те же звёзды.

«Урывчатое, верное служенье...»

Урывчатое, верное служенье
тому, что редко слышится в себе,
но узнаётся сразу, как терпенье
больших деревьев в слёзном октябре.

А в промежутках что угодно, что
приснится старой выдумщице яви:
не мудрствуя, хлебать добро и зло
со всеми в нашей правильной державе.

Со всеми множить лёгкий дым речей,
со всеми продираться скудным телом
сквозь душу бело-серо-зимних дней,
что называют жизнью и уделом.

Урывчатое, верное слежение
во тьме себя, в своей большой ночи,
не упустить сквозящее мгновенье,
случись ему последним быть, случись.

За это, наступающее нас,
за это узнавание вслепую
надеешься: простится в смертный час
твоё существованье вхолостую.

«Не дал дожить до мудрости Господь...»

Не дал дожить до мудрости Господь,
не дал ещё отшелушиться бредням.
Лишь ужас смерти понимает плоть
и ничего не знает разум бедный.

Он видит только, что права трава
и дождь, стучащий коротко по жести...
И, прежде понимания, слова
приходят, как перевранные вести.

«Чтобы вздрогнуть потом, вспоминая, как было...»

Чтобы вздрогнуть потом, вспоминая, как было

постыдно...

«Ничего в этом нет», – прижимая дыханье к стеклу,
ледовитым туманом смывая окрестные злыдни,
выгребаешь в себе прогоревшую в злобу золу.

В двух шагах от себя, отдыхая от тусклого тела...

Что извечно твоё – единенье с темнеющим льдом
бесконечно простёртой Вселенной, что грузно
просела

звёздным небом.

Колодезным холодом.

Страшным судом.

Две родины

*В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали
против лампы на извести стены чертога царского,
и царь видел кисть руки, которая писала.*

(Даниил 5,5)

Как увидел – родным стал
этот здешнего неба наклон,
этих бледных пространств даль,
словно лопнувших струн стон.
Так легли эти линии, так
поместился он в душу – весь
этот город, как будто знак,
что извечно бывал здесь,

что судьба изгибалась вдоль
круто выгнутых камнем рек,
что бродил и любил столь,
что неважно в какой век

так же густо душила пыль
и река текла под уклон,
так же плакал Иезекииль
по дороге со мной в Вавилон.

Сатанея в крови и огне,
утверждался языческий бог,
а в молчанье, на царской стене
проступал откровения слог.

Женщина – старость – смерть

1

О женщине, снимающей чулок,
чей стылый взгляд напоминает осень
усталостью, напоминает просинь
внезапностью, предутренний гудок

великим одиночеством, когда
она мертва для суеты и лени —
покинутое древнее селенье,
погасшая, но тёплая звезда.
Прислушиваясь к скорбному чутью,
разматывает нить далёкой пряжи,
и плоть её, оплыв, являет тяжесть,
что клонит к смерти зрелую листву.

Притянутые тенью тишины
и теплотой дыхания ночного
под тесным сводом маленького крова
собрались неприснившиеся сны

и шепчутся на мёртвом языке,
чьи звуки принимают за утрату
последних листьев, принимают за накаты
негромких волн на медленной реке.

Но постепенно, возвращая ум,
она возобновляет связь событий

.....
.....

Но постепенно, возвращаясь к дню
грядущему, – готова лицемерить,
и степень одиночества измерить
пугаясь, – говорит: «люблю».

2

Женщине, живущей в десяти
метрах, среди старых фотографий,
пожелтевших грамот-эпитафий,
тумбочек таких, что не пройти
в угол к занавешенной кровати,
комнате, как стону об утрате,
запаху старенья и тоски, —
я не посвятил ещё строки.

Между тем, знакомей хрестоматий
эта жизнь – заплатата на заплате,
правда, – телевизор (чем и жить?);
пенсия за сына или мужа,
крохи за подённый тихий ужас, —
можно бы, пожалуй, свесть концы,
но здоровье с каждым годом хуже, —
главное, что незачем сводить.

Эта жизнь настолько бессловесна,
так определённо равновесна, —
тождество себя самой себе.
Вечер. Телевизор блеклой тканью
покрывает скатерть, чай, десерт...
Женщина согрета ожиданьем:
после новостей пойдёт концерт.

3

Старушечьи глаза, глядящие упорно,
с дремучей силой, больше, чем любя,
в окно, туда, на молодых животных,
в обнимку убегающих к трамваю,
слепую силу в этом узнавая,
которая и ей готовит отдых.

4

И в этом птичьем облике, и в том,
как незаметно ты вела свой дом,
как тайно чувствовать привыкла и старалась
не обратить внимания судьбы
на тихий обиход твоей семьи,
была видна не то, чтобы усталость,
а ожидание немислимой беды,
которая, конечно, и прокралась
сквозь бесконечно чуткие посты
твоих навстречу вскинутых ладоней,
и точно ветер, вспыхнувший на кроне,
преобразила всю тебя.

Листы,
когда они трепещут наизнанку
и обращают дерево к себе...

Ты поддалась назойливой судьбе,
которая, как ловкая цыганка,
всё примеряла из своих смертей
тебе на выбор.

И твоя созрела,
и ты рванулась вся навстречу ей.
И дух живой покинул это тело.

5

Что, кроме комнаты, осталось от тебя?
На кухне стол и полочка в уборной,
и вешалка в углу, пылящаяся скорбно,
и всё, что моль не стала есть дотла, —
все эти шляпки, зонтики, боа,
вся дребедень, с такой ненужной силой
хранящая...

Как не подходят стелла и ветла
тебе и слову слизкому «могила»!
Здесь роза из последних сил цвела
и пахло степью пыльного тепла,
и как-то просто солнце заходило.
Стемнело. Смерть истратилась в слова,
чтоб тяжестью меня не раздавило.

6

Теперь я прихожу к тебе нечасто,
раз-два в году, когда по совпаденью
я окажусь в родных краях, и в настроенье,
и суета глаза мои не застит.

Я прохожу сквозь хор надгробных вскриков,
с сумятицей их бестолковой скорби,
и дробный хохот плещущихся бликов
по плитам сыплет тополь, как из торбы.

Да, да, я прихожу, но вот, к тебе ли,
и что такое ты теперь – мне знать бы...
Я прикасаюсь к этой чёрной стелле
и ничего не чувствую.

На свадьбе
крылатых мошек, вьющихся над стеблем,
присутствую. И я свободен столь же.
Как странно, что растёт и в нашем пепле
слепое знание души.

И что нам больше!

Друзьям

Мы знали толк в гармонии назло
сумбуру суесловного распада,
и счастье остановленного взгляда
сквозь время нас Вергилием вело.

В какую бы ни заносило глушь, —
могли остановить, остановиться,
родную чушь
вплотную разглядеть и восхититься.

Теряя смысл и суть,
отбрасывали искус крови, рода,
и в честном мраке набредали путь,
который нам оставила свобода.

«Первоосенние синие дни...»

Первоосенние синие дни,
солнце встаёт неохотней и позже,
длинные тени... и что там ни мнит
зелень, она уже больше не может
жить безоглядно, и ветер сквозит...
Это – похоже, это – похоже.

Словно осунулся, сник и оглох
мир, позабывший припадок свой летний,
неба овечий переполох
на горизонте, а в просини нет ни
облачка. День, как подавленный вздох:
это – последний, это – последний...

Пан

Каких-то звуков хаос, как в нутре
рояля копошащиеся дети...
Он задевал пространство, рос и зрел,
прислушиваясь к спору квинт и терций.

Он трогал музыки прозрачное лицо.
Звук начинался в сердце и, протяжен,
выстраивал Вселенную торцом,
дрожашую, как воздух в недрах скважин.
Горячее дыхание впотьмах
толкается и путь себе находит
под чутких пальцев судорожный взмах, —
и смыслом расширяется в природе,

и умирает, превращаясь в звук...
Он вслушался: ни жалок, ни прекрасен,
зато вобрал биенье и испуг,
зато с моим дыханием согласен.

Лето: Вечер, ночь

1

Светлый вечер понемногу
в глубине небес растаял,
словно кто в стихах оставил,
потеснившись, место Богу.

Присмотрись, как умирает
всё, рождённое тобою,
словно Он, своей рукою,
линии слепца стирает.

Вот, оголено до свиста
время жизни перед нами:
вновь натянут на подрамник
свежий холст.

Он чистый-чистый.

2

В тинистых глухих затонах,
в чёрных нёторопях жизни
светом если что и брызнет —
млечное тепло влюблённых.

И вновь темно и пусто.
Только разметавшийся по вселенным —
до света, до жизни, до человека —
холод миллионолетий.

Но в сквозных пустотах слога,
но в провалах звёздных ночи, —
пусть Он веет где захочет:
трепет, оторопь, тревога.

Зима 1991. Вид из окна

Вот и прожил ты здесь свой век,
словно вынут из себя весь,
и в тебе сейчас идёт тот же снег,
эта бело-равнодушная взвесь.

Он годами идёт, устав,
даже в вырытой чудом норе,
где стоит твой разлапистый шкаф
с дорогими страницами.

В тебе,

как на брошенной стройке, торчат
не пошедшие в дело куски,
и заносит их снег, белый ад,
покрывая пустырь и виски.

«Густая влажность свободе учит...»

Густая влажность свободе учит,
вползает в окна и детством мучит,
легко собирая с годов по крохе:
и снова осень в подмокшей охре
позволит ливню тех лет пролиться,
сплетая в стёклах свои косицы,
сливая в люки потоков туши,
и чтобы мальчик стоял и слушал.

Ещё плетеньем венозных молний,
ещё качаньем ветвей пополни,
ещё догадкой, что страх и счастье,
что смерть и ливень в единой власти,
в едином горе, в едином сущем,
так жадно ждущем, так густо льющем.

«Не дышит стих. Бывает так. Не дышит...»

Не дышит стих. Бывает так. Не дышит.
И ты стоишь – дитя среди слогов
рассыпанных – они уже не слышат
упругий ход слоистых облаков.

И всё, что так воистину бывает,
как пюгчевский многоголосый гром,
в твоих словах бессильно умирает,
а может быть в тебе, тебе самом.

Ну что ж, ты небо плотно закрываешь.
Прижавшись лбом к оконному стеклу,
застывшим пальцем контур огибаешь
вещей, идущих медленно ко дну.

И всё ещё одной ногой в могиле,
с её бесцветным привкусом свинца,
как Лазарь, повинясь строгой силе,
к живым уходишь прочь от мертвеца.

«Ближких тяжело терять – себя легче...»

Ближких тяжело терять – себя легче,
надоел ты мне, я, изрядно, —
вечно хочешь есть, спать, того хуже:
чаще всего ничего не хочешь.

Погружу-ка тебя в хлам событий,
распишу пастелью состояний
и, при встрече кивнув, отойду в раздумье:
что за знакомая постная морда?

«И никто (и ничто) не следит за тобой: есть или...»

И никто (и ничто) не следит за тобой: есть или
убыл;
это только поэтам и мистикам слышатся трубы,
возвестившие их приход, отрывающие их усенье,
подыгравшие им жизнь на пагубу или спасенье.

И тогда – это песня сиротства оставленного
ребёнка
в переходе людном, полном чужими,
очень хочется плакать и жгучая плёнка
застигает мир неродной и лживый.

И тогда – это песня свободы плавающей пылинки,
обомлевшей в просторе воздуха голубого,
полюбившей хаос движения броунова
и пустившейся вдаль по небесной тропинке,
исчезнувшей в бездне пространств ледяных,
молчаливых,
не оживлённых ничьим дыханьем,
одинокой Вселенной, мчащей в когтистых извивах
сгустки звёзд, с их бессмысленным полыханьем.

Ветреный день

Лужа от окрика ветра
мелкими ртами смеётся,
илистые её недра
бесстыдно белеют. Рвётся
плоть полотнища флага,
туго хлопает тканью.
Глаза пустая фляга
полнится влажной данью
да стариком, на ужин
тянущим сетку с пивом.
Ужас притихшей лужи
режет прутиком ивы
мальчик в сапожках...

Три попытки

1

Теплоход отчаливает, дрожа всем телом,
меж кормой и пристанью нарастает рана.

Ещё очень рано
и прибрежные горы в чём-то белом.

Крошечный бульвар медленно разворачивается,
тополя становятся игрушечными.

Человечек, словно точка. Он утрачивается
со своими надеждами мушечными.

Утренняя свежесть оседает каплями
на звенящей леске.

Тела у бассейна своими «оп-лями»
устраивают всплески.

Ресторан открыт. И бар открыт. Но море
несравненно более открыто.

Берег блекнет в небоводном хоре, —
всё забыто.

Глупости, что сбудется и взыщется:
как вода под днищем расступается,
так и жизнь под ясным взглядом свищется,
растворяется.

Всё это – крымско-кавказская линия,
какой-то год, летом.

Ты опять весь – прошлое синее,
что тебе в этом?

2

Поэзия свидетельствует, что
родившийся живёт и умирает
вполне и окончательно
со всеми привычками и пустяками,
шутками, надеждами, любовью,
со своим морем, картинами, близкими,
ссорами, передышками, взвизгами,
с видом из окна, с книгами,
с одинокими детскими играми,
с печальным своим счастьем, стиснутым
сердцем от невысказанности, с мыслями
простыми, как их отсутствие,
с лицом,

вбравшим жизнь
и так чутко отражавшим её мимолётности,
с невозможностью,
что всё это исчезнет,
с временем, затаившимся,
словно хищник, в звуках и запахах
о, несказуемость жизни... в запахах.

3

...и я хочу, чтоб то была попытка
такого утра, как Лоррен увидел:
залив спокоен, солнце мутноватой
медузой поднимается из моря,
с него ещё стекают сгустки света,
поющие на водах.

Длинной тенью
отчёркнуты холмы и акведуки,
в провалы небывающих руин
просвечивает небо.

Два матроса
на пирсе устанавливают сходни,
сидят три дамы – что они сидят?
На первом плане дерево, оно
растёт во всю картину, затмевая
полнеба мощной кроной, все листья
угнетены ещё ночным дурманом
и утренней росой.

Всё сиротливо,
чуть пусто и прохладно до озноба.

Так, путешествуя среди воспоминаний,
наткнёшься на садовую скамейку
с облупленной зелёной краской, на
две липы у трамвайной остановки, —
всё то невыразимое, чему
реальность придаёт лишь расставанье,
и поразишься благородной простоте,
с каким мгновенье, плавая в свободе
«быть» и «не быть», смиряется на «быть»,
и потому здесь вовсе нет матросов,
залива, дерева, — есть только колебанье
мгновенья прежде, чем собою стать,
и тут же уступить себя другому;
вот почему всё чуть тяжеловесно,
чуть неуклюже, и так точно, точно...

Совсем другому Мастеру дано
в нас сотворять живую непрерывность,

чтоб кто-нибудь, положим, Клод Лоррен,
не удивившись чуду говоренья,
нас тронул за рукав, сказав: смотрите,
как всё же им легко существовать, —
заливу, дереву, холмам, матросам.

Из окна

Глаз устаёт от бытовок,
луж и разбитых заборов,
смерти твоей заготовок
для исполнения хором
стёганных, грубых и тёртых,
тёсанных будто навечно
божьих народных актёров
в пьесе разрух бесконечной.

Морские этюды

1

Приходи хоть сюда, к этому морю, к его берегам
к мерной одышке волн:
вот тебе небо, чаек однообразный гам,
струйка глины, шуршащая по камням, —
всё, чем ты пуст и полн.

Оставайся, оставайся в этой большой пустоте,
раскинув дрожашую сеть
для жизни подспудной, в кричащей её немоте...
Так, руки сложив, лежишь в темноте,
не боясь уже умереть.

2

Рыжею извилистой тропой
поднимаюсь с моря – сохнут плавки на плече,
пахнет тиной, пустошью степною, —
всем, что есть в божественном сачке.

Всем, что так уловлено умело
цепкой сетью с незаметной ячейей,
оставаясь обречённым телом
и притом свободой самой.

3

Так остро, как под взмахом палача:
солёный вкус согретого плеча,
запястье в мелком бисере песка
и тщетные попытки муравья
из лунки выбраться.
И солнце у виска
садится в море сорок лет спустя,
да так, что слышен слабый плеск весла
и зыбь золотоносная видна...

«И вот, спадают слой за слоем...»

И вот, спадают слой за слоем
иллюзии: умён, любим...
И мир лицо своё простое
приоткрывает – вот таким
ещё тебе я неизвестен:
всего лишь всё, что видишь ты.
А если воздух жизни тесен,
то это домыслы твои.

Праздник

Шальной динамик утро сотрясает.
Весенний воздух слишком юн,
чтобы стыдиться диких звуков марша,
и с детской радостью безумье повторяет
далёких марширующих колонн.
Их долгий гул в глухих аллеях парка...
На «осторожнокрашенных» скамейках
счастливая роса седьмого дня,
не тронутая ранним робким солнцем.
Два воробья у тополя под мышкой
давно сидят и ленятся летать.

Два стихотворения на одну тему

1

Теплотрассы промёрзшую землю греют,
кошки, горбясь, сидят на люках.
Ярый глаз электрички
в белых вьющихся мухах.
Это – зима. Как просто
столько пространства сделать белым,
к земле прикоснувшись
длинным холодным телом,
и застыть, распластавшись,
погребая дома, дороги,
небесам возвращая
зимний свет их убогий...

2

Скрипучим словом «жизнь» обозначая ряд
усилий, надорвавших плоть и душу
(из Петропавловки шампанский выстрел пушек
легко встревожил снежный Летний сад
и птиц), не замечая, как легко
и вовремя в нём эта жизнь творилась
(а бестелесный снег, как барахло
ненужное, ему с небес дарилось),
уткнувшись в безнадежность, как в подол,
свободой горя в детстве утешавший,
ботинком приминая снежный дол,
скрипевший: «жизнь», но сразу затихавший.

Тогда

*Промчались дни мои, как бы оленей
Косящий бег.*

Петрарка – Мандельштам

Что шло в стихи, но сдуло сквозняком,
надувшим спину форточкой марли,
что было убедительнее Чарли,
с его дурацким котелком;

что застывало капелькой времён,
янтарным сгустком, перестрелкой света,
хранящей все тогдашние приметы
и счастье, выдыхающее стон;

что было попаданием, точней
которого не будет и не надо...
что пронеслось пугливым бегом стада,
оставив гул и пустоту ночей.

«Застывшая позади – в стихи...»

Застывшая позади – в стихи
в трусость опыта, в гул и гам,
жизнь – проточнейшая из стихий —
перемальвает всё в хлам.

Выползая из себя – вся
(ей и нужно всего: выдох-вдох),
вот сейчас ты ею весь взят,
но не больше для неё, чем мох,

но – не меньше: всякому – пусть!
вровень с деревом, зверем, травой...
Жить, как корм находить свой:
ни восторги неуместны, ни грусть.

Девочки и мальчики

1

...девочки, любящие рок-певца,
с нежным телом под распахнутой курткой.
Нужно видеть счастье их лица,
когда он придушит голос или жутко
завизжит, омывшись потом, натянув
шейных жил багровые поводья, —
сладко стать рекою в половодье,
всей собою берег захлестнув,
закипая пеной.

Но потом,
возвращаясь в неизбежность русла,
ткнуться в грязь налипшую и мусор,
провалиться в тяжесть слова «лом».

2

...мальчики, любящие упругий ветер
и урчащее тело мотора под собой.
Быть – это свист плети,
пущенной сильной рукой.
Радуетя и трепещет
тело в ответ бытию.
Бич этот резко и больно хлещет
голову любую, незнамо чью,
не разбирая метрик.
И лежит с осколками стекла
жизнь, расколота о поребрик,
невинная, словно и не была.

«Ты, слышащий английскую речь кругом...»

В. Гандельсману

Ты, слышащий английскую речь кругом,
гуляющий по просторам – для нас – того света,
скоро ли скажешь себе: «go home»?
А его-то, как раз, и нету.

Дом-то, оказывается, был всего
лишь там, где слышался соразмерный
звук из гомона мира сего,
и удавалось взять его верно.

Это случалось осенней порой,
хриплой порой опустевшего парка,
когда твой одноимённый герой
мял листопад в ежедневной запарке
в городе, где просто бродить
глупую цель на восторг превышало,
где удавалось пространство будить
шагом своим, и оно отвечало

словом стиха и извивом реки,
хрупкого инея сыпью в газоне,
миром, взывавшим к тебе: «нареки!»,
паром рассвета, потягивавшимся спросонья...

То, что здесь бродит – уже не я,
всё изошло на безумие в клетке,
просто живёшь тут по праву зверья,
оставившего свои метки.

«С каждым годом всё легче...»

С каждым годом всё легче,
всё глупей и ненужней,
и вторжение певчей
ноты в жизнь всё натужней.
Всё резвей, всё нелепей
тяжкий ход коромысла,
только совести слёпень,
только бусинка смысла
равновесье спасали,
да и те испарились —
дальним деревом стали,
с ликом местности слились,
растворились в просторе
законного взгляда,
в восхитительном вздоре
арматуры и сада...

Наконец-то свободен
от пристрастья и лени
глаз пирует в угодах
бескорыстного зренья:
видит яркую сложность,
лужи, мусора, листьев,
постигая возможность
бессловесности чистой.

III. Из книги «Пустырь»

«Что было разбитым стеклом...»

Что было разбитым стеклом,
огнистой игрушкой,
и страхом обрыва влекло
в прогулках у Пушки,
что запахом было земли
оттаявшей, влажной
вдоль спусков, что к морю текли
полоскою пляжной,
что било прозрачным ключом,
пузырчатым блеском,
что было, как счастье, ничьё,
дрожало, как леска,
натянута смертным трудом
живого улова...

то стало собою, нутром,
предвестником слова.

В приюте

Так расскажи когда-нибудь себе
как ты бывал в приюте престарелых
актёров.

Розовым младенчеством их спелых,
печёных лиц приближен был к судьбе
живущих, – лицедействует беда:
маразм с горчинкой благородной речи,
«заслуженных» морщинистые плечи,
цветник, паркет, всё правильно, судьба
недаром нас приводит в тесный клан,
отживших жизнь восторженно-невинно,
где смерть, как малолетний хулиган,
скорее ищет повод, чем причину,
чтоб посетить кого-нибудь из них
(а остальные робко затихают);
я знаю только то, что вижу, знаю,
как дорог мне колеблемый тростник
и эти окна, вымытые чисто,
с великолепной осенью слезливой,
где глаз старухи перезревшей сливой
глядится в умирающие листья.

Мы смертны. Нас не любят или любят.
Мы радуемся. Нам бывает страшно.
Господи, как всё это неважно,
когда, вздохнув, снимают на ночь зубы.

Сонет из тринадцати строк

Что нового об осени скажу?
Всё отдано: тепло – поникшим крышам,
пространство – странному сиянью свыше,
аллеи парка – ветру и дождю.

Всё отдано, и вот, я говорю:
всё принято, как принимают ниши
скользящий солнца луч, почти остывший,
стекающий на мёртвую листву.

Всё оборвалось: сяду, подожду,
пока под знаком осени, всё тише
проявятся черты, которых ближе
нет среди близких сердцу моему...

И не поверю, и не подойду.

В поезде

1

Мальчика сальные пальцы
пористый мнут пирожок,
вагонные сонные лампы
катают на лицах желток.

В недрах дремучего зверя —
тучной и тягостной тьмы —
поезд нору свою сверлит.

Храпящих раскрытые рты
качаются мерно и мёртво.
Трудно любить подряд
желаний их воздух спёртый,
каждого душный ад.

Ритм этот странный, рваный...
В тьму, словно в смерть, смотреть,
но туда ещё рано, рано, —
жизнь ещё надо терпеть.

2

Вислая нить проводов
тянет своё вдоль окна,
с горькой покорностью вдов
вниз опускаясь и на-
верх выбираясь, опять
вкось полосую пейзаж...
Что у живущего взять,
кроме прорех и пропаж,
кроме осенней земли,
в комьях тяжёлых, буграх,
кроме безумной семьи,
в прах разлетевшейся, в прах.

«Как дерево, о Родина, оно...»

Как дерево, о Родина, оно
растёт, не ведая, что где-то есть границы,
дающие название почве.

Птицы
ему сограждане, и с кроной заодно.

Как дерево – вот Родина! – врати
в пейзаж.

Но не достичь того величия,
но нужно мне понятное обличье,
чтоб образ твой скудеющий спасти.

Тогда пусть это будет тот закат
в твоём краю и на краю откоса,
пусть там скамейка будет врыта косо
и люди пусть вечерние сидят.

Там говорят закатные слова,
что вот, пропал... убит... или убился:
«прилежен был и хорошо учился,
кому мешал?»

«...судьба всегда права».

Я слушаю обыденную речь,
чужих забот косноязычно горе,
транзистор разливается: «о, море!»,
которое синее из-за плеч.

Как дерево, о Родина, твой вид
приобретает образ слишком личный.
Как дерево зимой всегда трагичным
нам кажется.

Возможно, просто спит.

«Вот осень, – говорит мне парк навзрыд, ...»

Вот осень, – говорит мне парк навзрыд, —
похмелье лета, листопадный стыд,
ты вслушайся в звучанье слова, – осень! —
свист имени, в котором рухнул быт,
и звук скулит тоски многоголосьем.

В ней утренний неторопливый пар
и хрусткий шаг, и повседневный дар
в такое погружаться запустенье,
в котором суеты твоей кошмар
оплакивает каждое растение.

И запах этот прелый и парной
избавит от потребности дурной
всегда иметь пронзительные чувства,
а жёлтая короста мостовой
уймёт нетерпеливый зуд искусства.

Останусь пуст. Займу смиренный нрав
у осени. Исаяя трижды прав,
что Бог приходит не в безумных корчах
стихии, не в величии держав,
а в тихом веянии ветра. Или молча.

«Готова сердце к новому стиху...»

Готова сердце к новому стиху,
из пустоты к наполненности призван,
застигнут преизбытком лёгких сил,
что высветляют вещи быстрым смыслом
и оставляют привкус точной жизни,
готова сердце к новому стиху,
ты раздвоился: одного себя
с готовностью пустил на побегушки,
как пробку, погружая в суету,
в уверенности: выплывет, не страшно,
поскольку здесь же наблюдал другой,
живя и полнясь назревающим смыслом
пространства, не сказавшего себя;
он зреньем прозорливца замечал,
как тополиный пух бесплоден на асфальте
большого города, как женщина улыбку
привычную готовит, если ей
показывают карточку ребёнка,
как разум его смотрится в трюмо
своей внимательности, множась бесконечно.

Готова сердце к новому стиху,
ты жил в объёме, созданном сияньем
двух этих родин, двух больших миров,
чьи сполохи уже неразделимы,
когда вплотную подошёл черёд
готовить сердце к новому стиху...

После смерти

1

И я в пустую комнату вхожу,
на улице пустой глотаю воздух,
какую-то нелепицу твержу
невесть о чём: о кладбище и звёздах.

И невесом, как порченный орех,
и к делу так же точно не пригоден,
с ненужной лаской понимаю всех
и от любви единственной свободен.

И всё кому-то нужен, а зачем?
Смерть вовсе не страшна, но след её пребудет
попыткой свыше сил постигнуть эту темь,
когда не будет нас, и ничего не будет.

2

Уходи умирать на забытый чердак,
забирайся под кровлю, заползи под пиджак,
подбери свои ноги к плохому лицу,
замыкайся в себе, приготовься к концу.

Не увидишь усталых, растерянных лиц,
оплывающий свет, закипающий шприц,
не услышишь мышинной возни у одра,
не случится продлённого в завтра вчера.

Всё. Не нужен тебе ни обет, ни зарок,
только здесь ты почувствуешь, сколь одинок,
и впервые не нужно об этом сказать:
просто худо тебе, больше нечего знать.

Отпусти свою память и всё, что прочёл,
всё, что верил – не верил, справедливостью счёл,
лишь бы весь этот хлам позабыл, как не знал,
невозможный вопрос возле губ не дрожал.

3

Ещё страшней и одиноко,
и на губах смиренья привкус:
твой мир – всего один из многих,
и вовсе он не в центре мира.

От всемогущества – ни крошки,
утеряв взгляд судьбы особой,
отметившей тебя с рожденья,
и ты никем не опекаем.

Ты можешь быть и можешь не быть
и, согласишься, совсем случайно
ты в этой осени печальной.
Природы жёсткое молчанье:
ну что ж, живи, ты не мешаешь.

Свободней нищих и погоды,
ненужней луж и павших листьев,
мне так впервые без надежды,
без праздников и перерывов.

4. В Боткинской

Сегодня здесь случилась смерть старушки
и, тупо глядя в отсвет фонаря,
держа унылую больничную ватрушку,
я вспомнил: ровно год, как нет тебя.
И, понимая бесполезность даты
(что мёртвому, в его пустой судьбе
чередование рассвета и заката?),
я пробую не думать о тебе.

Ведь память, распуская свои перья,
родное застит: обречённость глаз
и то прекрасное, по сути, недоверье,
с которым ты выслушивала нас.

За ним уже проглядывало что-то
чуть в стороне от страхов и рутин,
бесстрастное, как чуждая природа,
к которой ты была на полпути.

А что уж говорить о нашем вздоре
из утешений, доводов, молитв!
(«Кого ебёт, мой друг, чужое горе», —
сказал мне одинокий инвалид).

Как ты боялась приближенья ночи!
И я, когда поверил, что умру,
смотрел в её живое средоточье,
в оконную дичающую тьму.

Я различил корявый древний тополь,
за ним неясный, призрачный завод,

а дальше, как сказал поэт, Петрополь
вставал из гиблых и глухих болот.

Я всматривался в «чудище огромно»,
не понимая, для чего я здесь,
достаточно свободный и бездомный,
чтобы считать своей любую весь.
Когда от свёрнутого свитка ночи
остался след темнеющей каймы,
я всё ещё всерьёз себя морочил,
пытаясь стать хозяином судьбы,

но тут же сладко понял: я не волен
крупницы ни прибавить, ни отнять,
не потому, что в чём-то обездолен,
а потому, что нечего менять.

И, подтверждением вспыхнувшей догадки,
чертя холодную и ясную дугу,
взлетали птицы с угольной площадки
на голую фабричную трубу.

2 ноября 1976

5. Видение

Я в смерть вошёл, как входят в переход
подземный станции метро конечной.
Теперь я буду в этом мире – под
невероятным вашим – и навечно.

О, Господи, теперь ни «под», ни «над»,
ни «я», ни «вечно» не имеет смысла.
Пространство – это там, где сад,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.